

## 1.Текст В. Сухомлинского "Про истинную красоту":

Во внешней человеческой красоте воплощены наши представления об идеале прекрасного. Внешняя красота – это не только антропологическое совершенство всех элементов тела, не только здоровье. Это внутренняя одухотворенность – богатый мир мыслей и чувств, нравственного достоинства, уважения к людям и к себе... Чем выше нравственное развитие и общий уровень духовной культуры человека, тем ярче отражается внутренний духовный мир во внешних чертах. Это свечение души, по выражению Гегеля, все больше проявляется, понимается и чувствуется современным человеком. Внутренняя красота отражается на внешнем облике...

Единство внутренней и внешней красоты – это эстетическое выражение нравственного достоинства человека. Нет ничего зазорного в том, что человек стремится быть красивым, хочет выглядеть красивым. Но, мне кажется, надо иметь моральное право на это желание. Нравственность этого стремления определяется тем, в какой мере эта красота выражает творческую, деятельную сущность человека. Ярче всего красота человека проявляется тогда, когда он занят любимой деятельностью, которая по своему характеру подчеркивает в нем что-то хорошее, свойственное его личности. При этом его внешний облик озарен внутренним вдохновением. Не случайно красоту дискобола Мирон воплотил в момент, когда напряжение внутренних духовных сил сочетается с напряжением сил физических, в этом сочетании – апофеоз красоте...

Внешняя красота имеет свои внутренние нравственные истоки. Любимое творчество делает человека красивым, преобразует черты лица – делает их тонкими, выразительными.

Красоту создает и тревога, забота – то, что обычно называют «муками творчества». Как горе откладывает на лице неизгладимые морщины, так и творческие заботы являются самым тонким, самым искусным скульптором, делающим лицо красивым. И, наоборот, внутренняя пустота придает внешним чертам лица выражение тупого равнодушия.

Если внутреннее духовное богатство создает человеческую красоту, то бездеятельность и тем более безнравственная деятельность эту красоту губят.

Безнравственная деятельность уродует. Привычка лгать, лицемерить, пустословить создает блуждающий взгляд: человек избегает смотреть в глаза другим людям; в его глазах трудно увидеть мысль, он прячет её... Зависть, эгоизм, подозрительность, боязнь того, что «меня не ценят», - все эти чувства постепенно огрубляют черты лица, придают ему угрюмость, нелюдимость. Быть самим собой, дорожить своим достоинством – это живая кровь подлинной человеческой красоты.

Идеал человеческой красоты – это вместе с тем и идеал нравственности. Единство физического, нравственного, эстетического совершенства – это и есть та гармония, о которой так много говорится. (В.А.Сухомлинский)

## **2. Текст И.Фонякова "Про интеллигентность"**

Кажется, на глазах размываются понятия воспитанности, порядочности, душевного благородства – всего, что мы привыкли связывать со словами «интеллигент» и «интеллигентность».

Один бравый критик как-то признавался в печати: прежде чем прочесть какое-либо произведение в интернете или на дискете, он проверяет с помощью компьютера, присутствует ли там ненормативная лексика. Если нет – читать ни за что не будет: розовая водичка! Такой вот крутой представитель творческой интеллигенции. Надо ли говорить, что он сегодня не одинок? Под натиском лексики, которую называют еще «обсценной», падает один редут за другим. Слова, которые вчера еще казались запретными, проникают в произведения самых почтенных писателей.

С одной стороны, интеллигенция – это социальный слой или, как еще недавно говорилось, прослойка, возникающая в определенных обстоятельствах. И тогда все сказанное верно. С другой – те же слова несут в себе этическую и, я бы сказал, эстетическую оценку. Допустим, интеллигенция (в виде «протоинтеллигенции») действительно появилась у нас в XV–XVI веках. Но еще в XII столетии появилось «Слово о полку Игореве»! Был ли его автор – гениальный художник слова, человек высоких и благородных помыслов – интеллигентом? Были ли интеллигентами его читатели – ведь не для себя же одного сочинял он свою поэму! А строители киевского Софийского собора и его новгородского тезки? А митрополит Иларион – автор «Слова о законе и благодати» (XI век)? А Нестор и прочие монахи-летописцы?..

## **3. Текст Куприна "Про природу"**

Под его надзором и охраной было двадцать семь тысяч десятин казенного леса, да еще, по просьбе миллионеров братьев Солодаевых, он присматривал за их громадными, прекрасно сохраненными лесами в южной части уезда. Но и этого ему было мало: он самовольно взял под свое покровительство и все окрестные, смежные и чересполосные крестьянские леса. Совершая для крестьян за гроши, а чаще безвозмездно разные межевые работы и лесообходные съемки, он собирал сходы, говорил горячо и просто о великом значении в сельском хозяйстве больших лесных площадей и заклинал крестьян беречь лес пуще глаза. Мужики его слушали внимательно, сочувственно кивали бородами, вздыхали, как на проповеди деревенского попа, и поддакивали: "Это ты верно.... что и говорить... правда ваша, господин лесницын... Мы что? Мы мужики, люди темные..." Но уж давно известно, что самые прекрасные и полезные истины, исходящие из уст господина лесницына, господина агронома и других интеллигентных радетелей,.. представляют для деревни лишь простое сотрясение воздуха. На другой же день добрые поселяне пускали в лес скот, объедавший дочиста молодняк, драли лыко с нежных, неокрепших деревьев, валили для какого-нибудь забора или оконницы строевые ели, просверливали стволы берез для вытяжки весеннего сока на квас, курили в сухостойном лесу и бросали спички на серый высохший мох, вспыхивающий, как порох, оставляли непогашенными костры, а мальчишки-

пастушонки, те бессмысленно поджигали у сосен дупла и трещины, переполненные смолой, поджигали только для того, чтобы посмотреть, каким веселым, бурливым пламенем горит янтарная смола., Он упрашивал сельских учителей внедрять ученикам уважение и любовь к лесу, подбивал их вместе с деревенскими батюшками, - и, конечно, бесплодно, - устраивать праздники лесонасаждения, приставал к исправникам, земским начальникам и мировым судьям по поводу хищнических порубок, а на земских собраниях так надоел всем своими пылкими речами о защите лесов, что его перестали слушать. "Ну, понес философ свой обычный вздор", - говорили земцы и уходили курить, оставляя Турченку разглагольствовать, подобно проповеднику Беде, перед пустыми стульями. Но ничто не могло сломить энергии этого упрямого хохла, пришедшегося не по шерсти сонному городишке. Он, по собственному почину, укреплял кустарником речные берега, сажал хвойные деревья на песчаных пустырях и облеснял овраги. На эту тему мы и говорили с ним, свернувшись на обширном докторском диване. - В оврагах у меня теперь столько нанесло снега, что лошадь уйдет с дугой. А я радуюсь, как ребенок. В семь лет я поднял весеннюю высоту воды в нашей поганой Вороже на четыре с половиной фута. Ах, если бы мне да рабочие руки! Если бы мне дали большую неограниченную власть над здешними лесами. Через несколько лет я бы сделал Мологу судоходной до самых истоков и поднял бы повсюду в районе урожайность хлебов на пятьдесят процентов. Клянусь господом богом, в двадцать лет можно сделать Днепр и Волгу самыми полноводными реками в мире,- и это будет стоить копейки! Можно увлажнить лесными посадками и оросить арыками самые безводные губернии. Только сажайте лес. Берегите лес.

#### 4.Текст В.А. Пьецуха "Про чтение книг"

Вот уже пять тысяч лет, как человечество не отстает от чтения, хотя у него забот, что называется, полон рот (тут тебе и бесконечные междоусобицы, и дети встали на кривую дорожку, и кризис неплатежей), а он все почитывает на досуге. Вроде бы и практического толка от этого занятия никакого: все-таки книжку прочитать – это не то, что делянку под картошку вскопать или починить в доме электропроводку, вроде бы и без того жизнь коротка, как заячий хвост, и глаза портить не годится, и основные вопросы бытия давно закрыты, а людей все тянет к печатному слову, точно в нем заключена какая-то вящая благодать...

И ведь действительно: с мудрым автором связаться через печатное слово – это совсем не то, что выяснить по сотовому телефону у Саши или у Маши, что они кушали на обед; это совсем не то, что выслушать от матери нагоняя за бестолковость и нерадение, претерпеть трепку от старшего брата в связи с покражей из буфета сладкого пирога... Исключительно по той причине, что большой писатель представляет собой редкостный феномен, что он есть высший подвид человека разумного, наделенный способностью мыслить и чувствовать, как никто, его сочинения непременно следует прочитать. Пушкин нас настави тому, что не надо идеализировать любовь, состояние аномальное и, скорее,

психофизического свойства, возбуждаемое органами секреции независимо от объекта страсти, поскольку в случае с Татьяной Лариной «Душа ждала... кого-нибудь», то есть на месте Онегина как объекта мог быть, например, заезжий коммивояжер, капитан-исправник, какой-нибудь заядлый бильярдист. Гоголь нам объявит: «Скучно на этом свете, господа!» – и будет отчасти прав, потому что, действительно, невесело существовать среди полулюдей, отнюдь не чающих своего высокого предназначения, хотя в другой раз занятно бывает понаблюдать за двумя провинциальными дураками, которые отравляют друг другу жизнь из-за сломанного ружья. Лев Толстой нас вдохновит своим озарением: «Мне говорят, я несвободен, а я взял и поднял правую руку», Чехов насторожит категорическим императивом: «В человеке все должно быть прекрасно...», в свою очередь, Достоевский нам сообщит, что «Широк, слишком широк русский человек, я бы сузил» и «Красотою спасется мир».

Следовательно, люди испокон веков льнут к дельной книге по той причине, что испытывают потребность в общении с самыми светлыми умами, какие только произвело человечество, и удовлетворить ее не могут ни домашние, ни приятели, ни газеты, ни тем более конференции у продовольственного ларька. Откуда взялась эта потребность, точно сказать нельзя, но можно предположить: таковая заключена в самой природе человека как пожизненного слушателя Высших курсов, тонкой штучки, мыслителя и творца. Во всяком случае, очевидно, что книга не нужна ни бабуину, ни ласточке, ни слону, у которого голова в семь раз больше, чем у *homo sapiens*, и только человеку, этому противоестественному существу, неизвестно каким образом и зачем выведенному природой, время от времени бывает желательно почитать. Словом, скорее всего прав поэт Бродский, «Человек – это то, что читает», по крайней мере, человек – это не так просто, как полагают материалисты, и мыслящие особи должны быть постоянно настороже.

## **5.Текст Солоухина "О словах (и про "Мёртвые души")"**

Можно исследовать химический состав, технологию производства, рецепты, тайны мастерства и все точно узнать: почему фарфоровая чашка звенит красиво и ярко, а просто глиняная издает глухой звук. Но мы никогда не узнаем - почему одни фразы, стихотворные строки, строфы бывают звонкими, а другие глухими.

Дело вовсе не в глухих согласных, шипящих, закрытых и открытых звуках. Каждое слово без исключения может звенеть, будучи поставленным на свое место. Слова одни и те же, но в одном случае из них получается фарфор, бронза, медь, а в другом случае - сырая клеклая глина. Один поет, а другой хрипит. Один чеканит, другой мямлит. Одна строка как бы светится изнутри, другая тускла и даже грязна. Одна похожа на драгоценный камень, другая - на комок замазки.

Почему герои «Мертвых душ» вот уже стольким поколениям читателей кажутся удивительно яркими, выпуклыми, живыми? Ни во времена Гоголя, ни позже, я думаю, нельзя было встретить в чистом виде ни Собакевича, ни Ноздрева, ни Плюшкина. Дело в том, что в каждом из гоголевских героев читатель узнает... себя! Характер человеческий очень сложен. Он состоит из множества

склонностей. Гоголь взял одного нормального человека (им мог быть и сам Гоголь), расщепил его на склонности, а потом из каждой склонности, гиперболизируя ее, создал самостоятельного героя. В зародышевом состоянии живут в каждом из нас и склонность к бесплодному мечтательству, и склонность к хвастовству, и склонность к скопидомству, хотя в сложной совокупности характера никто из нас не Манилов, не Ноздрев, не Плюшкин. Но они нам очень понятны и, если хотите, даже близки.

Однажды я ночевал в коренном дагестанском ауле. Днем, пока мы суетились и разговаривали, обедали и пели песни, ничего не было слышно, кроме обыкновенных для аула звуков: крик осла, скрип и звяканье, смех детей, пенье петуха, шум автомобиля и вообще дневной шум, когда не отличаешь один звук от другого и не обращаешь на шум внимания, хотя бы потому, что и сам принимаешь участие в его создании.

Потом я лег спать, и мне начал чудиться шум реки. Чем тише становилось на улице, тем громче шумела река. Постепенно она заполнила всю тишину, и ничего в мире кроме нее не осталось. Властно, полнозвучно, устойчиво шумела река, которой днем не было слышно нигде поблизости. Утром, когда мир снова наполнился криками петуха, скрипом колеса, громоханием грузовика и нашим собственным разговором о всякой ерунде, я спросил у жителей аула и узнал все же, что река мне не приснилась, она действительно существует в дальнем ущелье за горой, только днем ее не слышно.

Каково же художнику сквозь повседневную суету жизни прислушиваться к постоянно существующему в нем самом и в мире, но не постоянно слышимому голосу откровения?

## **6. Текст С. Алексиевич "У войны - не женское лицо..."**

Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие». Есть и другие слова — сестра, жена, друг, и самое высокое — мать. Но разве не присутствует в их содержании и милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь — синонимы.

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей..

Так кто же они, эти девочки, которые в сорок первом уходили с отступающими частями, осаждали военкоматы, всеми правдами и полудетскими неправдами прибавляя себе год-два, рвались на фронт? Сами они вспоминают, что были обыкновенными школьницами, студентками. Но в один день мир для них разделился на прошлое — то, что было еще вчера: последний школьный звонок, новое платье к выпускному балу, каникулы, студенческая практика в сельской

больнице или школе, первая любовь, мечты о будущем... И войну. То, что называлось войной, обрушилось прежде всего необходимостью выбора. И выбор между жизнью и смертью для многих из них оказался простым, как дыхание.

Я пробую представить себе, что такой выбор встал бы передо мной, и новыми глазами вижу свою комнату – любимые книги, пластинки, тепло настольной лампы, которая сейчас светит мне, знакомое дыхание матери за стеной... То, что могла бы потерять. И уже не тороплюсь повторить, что выбор был «простой, как дыхание», хотя для них это было именно так.

Война меняла их. Война формировала, потому что застала в возрасте складывания характера, взгляда на жизнь. Война заставляла их многое увидеть, многое из того, что лучше бы человеку вообще не видеть, тем более женщине. Война заставляла о многом подумать. О добре и зле, например. О жизни и смерти. О тех вопросах, на которые человек научается отвечать в какой-то мере, прожив жизнь. А они только начинали жить. И уже должны были отвечать на эти вопросы...

Поклонимся низко ей, до самой земли. Ее великому Милосердию.

### **7.Текст В.Ф.Тендрякова "Про взаимоотношений отцов и детей"**

Лет пятнадцать или более того назад я попал в Лондон на международную встречу физиков, взбудораженных тогда теорией кварков. В нескольких шагах от сверкающей рекламной Пиккадилли под аркой дома, выходящей на людную мостовую, я увидел группу юнцов длинноволосых, в цветных кофтах, увешанных бусами, с подведенными глазами, крашеными губами, с зазывным выражением панельных девиц. Прохожие не обращали на них внимания — привычно, — а я выдал себя брезгливым содроганием.

— У вас такого нет, мистер Гребин? — осведомился мой попутчик, известный в Англии научный обозреватель.

И я решительно, с чистой совестью ответил:

— Нет. Сокрушенный вздох:

— В таком случае верю — будущее за вами, ибо молодость многих развитых наций в проказе.

Я был наказан за самомнение.

К тому времени у меня уже подросток сын.

Сева — единственный сын в благополучной семье. Но для подростка наступает такое время, когда каждая семья начинает казаться ему неблагополучной. Каждая, даже самая идеальная! В ее рамках становится тесно, внешний мир манит к себе, опека матери и отца угнетает. Хочется свободы и самостоятельности. Становление человека неизбежно создает этот неисклнучительный кризис, у одних он проходит незаметно, у других перерастает в трагедию. Сева стал чаще пропадать из дома...

Он отпустил волосы, наотрез отказался стричься, сразу утратил ухоженный домашний вид, эдакий одичавший послушничек. Он наткнулся на старую кофту матери с широкими рукавами, его только не устроили обычные пуговицы, где-то раздобыл медные бубенчики, сам их пришил. В женской кофте с бубенчиками, в потертых, с чужого зада (выменятных), с бахромой внизу джинсах, с неопрятными жиденькими косицами, падающими на плечи, — странная, однако, забота о собственной внешности: стараться не нравиться другим походить на огородное путало. Наш сын...

Навряд ли он ждал, что мы станем умиляться, но наше недоумение, досаду, презрительность воспринимал болезненно, стал повышенно раздражительным.

Теперь любая мелочь выводила его из себя: неодобрительный взгляд, горькая ухмылка на моем лице, просьба матери вынести мусорное ведро — все воспринималось как посягательство на его достоинство. И самые простенькие вопросы для него вырастали в мучительнейшие проблемы — праздновать или не праздновать дома день рождения, ехать ли вместе с классом на экскурсию в Коломенское, просить ли у матери денег на покупку новой пластинки?.. На его физиономии все чаще и чаще возникало вселенски кислое выражение, пока не застыло в постоянную мину и окончательно не обезобразило его. Мы чувствовали — чем дальше, тем больше он уже сам себя не уважал.

А я вспоминал случай в Лондоне и раскаивался в бравате — у нас нет того, не в пример другим безупречны... То, что свойственно временам и народам, в том или ином виде не может миновать и нас.

Сакраментальный конфликт отцов и детей родился не вчера. «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». Эти слова произнес Гесиод еще в VII веке до нашей эры. Но отцам последующих поколений от столь древнего признания легче не становилось.

Это бунт, Георгий. Против нас, против всего мира. Ты собираешься его подавить?

Я ничего не ответил.

— Нет, — горько проговорила она, — ты хочешь, чтобы это сделала я.

И я снова промолчал, так как она угадала. Добавить мне было нечего.

— Так вот, Георгий, нам лучше отвернуться от его мальчишеского бунта, сделать вид — не заслуживает внимания. Не будем подбрасывать дров в огонь. Само погаснет.

Лишний раз Катя доказала свою непостижимую для меня мудрость.

Действительно, Сева скоро забросил кофту с бубенчиками, подстригся, смыл с лица кислое выражение, взялся тянуть школьную лямку, а она нынче тяжела.

Давно исчезли альбомы с марками, детские фотоаппараты, учебники вытеснили книги научной фантастики, даже выскочить в кино не хватало времени, постоянн

## **8. Текст К. Симонова "О солдате, который отвечал на письма"**

Рано утром Лопатин с Ваниным ушли в первую роту. Сабуров остался: он хотел воспользоваться затишьем. Сначала они два часа просидели с Масленниковым за составлением различной военной отчетности, часть которой была действительно необходимой, а часть казалась Сабурову лишней и заведенной только в силу давней мирной привычки ко всякого рода канцелярщине. Потом, когда Масленников ушел, Сабуров сел за отложенное и тяготившее его дело — за ответы на письма, пришедшие к мертвым. Как-то так уже повелось у него почти с самого начала войны, что он брал на себя трудную обязанность отвечать на эти письма. Его сердили люди, которые, когда кто-нибудь погибал в их части, старались как можно дольше не ставить об этом в известность его близких. Эта кажущаяся доброта представлялась ему просто желанием пройти мимо чужого горя, чтобы не причинить боли самому себе.

«Петенька, милый,— писала жена Парфенова (оказывается, его звали Петей),— мы все без тебя скучаем и ждем, когда кончится война, чтобы ты вернулся... Галочка стала совсем большая и уже ходит сама, и почти не падает...»

Сабуров внимательно прочел письмо до конца. Оно было не длинное — привет от родных, несколько слов о работе, пожелание поскорее разбить фашистов, в конце две строчки детских каракуль, написанных старшим сыном, и потом несколько нетвердых палочек, сделанных детской рукой, которой водила рука матери, и приписка: «А это написала сама Галочка»...

Что ответить? Всегда в таких случаях Сабуров знал, что ответить можно только одно: он убит, его нет,— и все-таки всегда он неизменно думал над этим, словно писал ответ в первый раз. Что ответить? В самом деле, что ответить?

Он вспомнил маленькую фигурку Парфенова, лежавшего навзничь на цементном полу, его бледное лицо и подложенные под голову полевые сумки. Этот человек, который погиб у него в первый же день боев и которого он до этого очень мало знал, был для него товарищем по оружию, одним из многих, слишком многих, которые дрались рядом с ним и погибли рядом с ним, тогда как он сам остался цел. Он привык к этому, привык к войне, и ему было просто сказать себе: вот был Парфенов, он сражался и убит. Но там, в Пензе, на улице Маркса, 24, эти слова — «он убит» — были катастрофой, потерей всех надежд. После этих слов там, на улице Карла Маркса, 24, жена переставала называться женой и становилась вдовой, дети переставали называться просто детьми,— они уже назывались сиротами. Это было не только горе, это была полная перемена жизни, всего будущего. И всегда, когда он писал такие письма, он больше всего боялся, чтобы тому, кто прочтет, не показалось, что ему, писавшему, было легко. Ему хотелось, чтобы тем, кто прочтет, казалось, что это написал их товарищ по горю, человек,



так же горящий, как они, тогда легче прочесть. Может быть, даже не то: не легче, но не так обидно, не так скорбно прочесть...

Людам иногда нужна ложь, он знал это. Они непременно хотят, чтобы тот, кого они любили, умер героически или, как это пишут, пал смертью храбрых... Они хотят, чтобы он не просто погиб, чтобы он погиб, сделав что-то важное, и они непременно хотят, чтобы он их вспомнил перед смертью.

И Сабуров, когда отвечал на письма, всегда старался утолить это желание, и, когда нужно было, он лгал, лгал больше или меньше — это была единственная ложь, которая его не смущала. Он взял ручку и, вырвав из блокнота листок, начал писать своим быстрым, размашистым почерком. Он написал о том, как они служили вместе с Парфеновым, как Парфенов героически погиб здесь в ночном бою, в Сталинграде (что было правдой), и как он, прежде чем упасть, сам застрелил трех немцев (что было неправдой), и как он умер на руках у Сабурова, и как он перед смертью вспоминал сына Володю и просил передать ему, чтобы тот помнил об отце.

## **9.Текст А. Чехова "Про извозчика"**

ТОСКА

Кому повею печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упав на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами,

вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Прправа держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебежавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норвят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Пovyлазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь всё равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! —И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему неважно.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крикает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... Небось, выплещешься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выехали, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей всё...

## **10. Текст Ю. Визбора "Песни делает время"**

Мы говорим, что время делает песни. Это верно. Но и сами песни чуть-чуть делают время. Входя в нашу жизнь, они не только создают ее культурный фон, но часто выступают как советчики, выдвигают свою аргументацию в тех или иных вопросах, а то и просто рассказывают

У нас была комната площадью в 12 метров, и жили мы в ней пятером. Тетка моя, только что эвакуированная из блокадного Ленинграда, откуда она присылала письма - "бейте коричневых зверей!", вставала раньше всех и первая включала радио. Ровно в шесть часов из черного бумажного репродуктора звучала песня - тяжелая побудка военных лет: "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!" И была она слышна и у соседей, и по всему Панкратьевскому переулку слышна была, и по всей Москве, и по всей стране 1942 года. С тех пор я не знаю песни, которая оказывала бы на меня такое сильное действие. Как человек, который имеет свое отношение к песне, меня занимало, что в первом куплете

"Священной войны" есть не очень, как мне кажется, точная рифма: огромная - темною. Конечно, рассуждал я, такой мастер, как Лебедев-Кумач, не мог этого не заметить. Стало быть, у него были свои основания оставить эту не совсем точную рифму ради какой-то более высокой цели. Какой? Наверное, я не ошибся. Ради самого слова - ОГРОМНАЯ. Как необычайно точно оно сказано! Сколько нужно найти в себе поэтической силы, чтобы с такой меткостью, с такой фольклорной простотой сказать в грозный год слово, так необходимое стране, - будто зеркало перед ней поставить! Сколько уверенности придавала эта строчка! Сколько серьезности и драматизма в ней! Как дорога была для страны эта поэтическая находка, рождавшая несомненное чувство личной сопричастности с судьбой народа.

символы, так молодой офицер, трясущийся в полуживой полutorке где-то между Дмитровом и Москвой, сочиняет то, что будет навек выбито в граните, - "И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова...". И мы стоим у "ежей" на Ленинградском шоссе и обнажаем головы перед подвигом защитников Москвы. И благодарим поэта.

Конечно, не всякую песню постигает такая судьба, не всем дано так реально быть изготовленным в бетоне, отлитым в металле, высеченным в граните. С этим в конце концов можно потерпеть. Но входить в душу человеческую, оставаться там пусть малыми, но надежными опорами гуманизма, честности, преданности - прямая задача песни-публициста. И часто наши народнохозяйственные планы, дела идущей и грядущей пятилеток ставят перед нами не только хозяйственные, но и поэтические задачи. Появляются новые стройки. Появляются новые песни о них.

Мне не кажется, что в один прекрасный день композитор, собравшись вместе с поэтом, решают написать "настоящую народную песню, которая не умрет в веках". Такая ситуация представляется маловероятной. Песня пишется как современное злободневное произведение. Годы испытывают ее на талант, на прочность конструкции, на выживание. Десятилетия жизни делают ее народной. В конце концов, "Подмосковные вечера" были написаны лишь для спортивного документального фильма, а "Звездный флаг" - будущий гимн США был сочинен его автором на обратной стороне конверта под впечатлением пожара города Бостона, обстрелянного с моря кораблями южан. Песня пишется сегодня, и если содержит она в себе "гены", обращенные в будущее, завтра она прорастет в новом своем качестве, не потеряв силы, но обретя мудрость.

И почему-то именно этот личностный, индивидуальный телеграф душ превращается в разговор для всех.

### **11. Текст Ефремова "Об образовании"**

Осенью 1925 года я поступил в Академию наук лаборантом геологического музея. Казалось бы, мне оставалось только закончить университет. На деле получилось совсем не так. Разнообразная деятельность лаборанта, сама наука так увлекли меня, что я часто засиживался в лаборатории до ночи. Все труднее становилось

совмещать столь интенсивную работу с занятиями. К тому же с весны до глубокой осени приходилось бывать в экспедициях. Вскоре и совсем бросил занятия, не будучи в силах совмещать дальние экспедиции в Среднюю Азию и Сибирь, где я уже работал в качестве геолога, хотя и не имел еще диплома.

Мне посчастливилось быть в рядах тех геологов, которые открыли пути ко многим важным месторождениям полезных ископаемых. Эта трудная работа так увлекала нас, что мы забывали все. Забыл и я о своем учении.

Я то и дело «спотыкался», когда приходилось отстаивать свои взгляды, выставлять проекты новых исследований или «защищать» открытые месторождения. Наконец, мне стало ясно, что без высшего образования мне встретится слишком много досадных препятствий. Будучи уже квалифицированным геологом, я ходатайствовал о разрешении мне, в порядке исключения, окончить экстерном Ленинградский горный институт. Мне пошли навстречу, и в течение двух с половиной лет удалось, не прерывая работы, закончить его.

Сколько я каялся и бранил себя за то, что оставил учение и не довел его до конца раньше, когда у меня было еще мало обязательств, накоплено мало исследований, требовавших спешного завершения.

Сейчас, когда я, пожилой, много видевший ученый и писатель, смотрю в прошлое, мне ясно, что стремление и воля к знаниям не оставляли меня. Я пробивался к знаниям, чувствуя и понимая, какой огромный и широкий мир открывается передо мной в книгах, исследованиях, путешествиях. Но каковы бы ни были мои способности и желания, сделать доступным все духовное богатство мира могло лишь систематическое образование. Все это — школа и уроки, диктовки и задачи — было трудным препятствием, но и в то же время ключом, открывшим ворота в новое, интересное, прекрасное.

Мне повезло с учителями — на пути оказались хорошие, высокой души люди. Настоящие педагоги, сумевшие разглядеть в малообразованном, плохо воспитанном, подчас просто грубом мальчишке какие-то способности. Но мне думается, что если бы этого не случилось, то все равно я бы продолжал преодолевать все трудности учения. Воля, как и все остальное, требует закалки и упражнения. То, что казалось трудным вчера, становится легким сегодня, если не уступать минутной слабости, а бороться с собой шаг за шагом, экзамен за экзаменом.

Тренировка стойкости и воли приходит незаметно. Когда учишься ездить на автомашине, трудно справляться с ней и следить за дорогой, знаками, пешеходами. И вдруг вы перестаете замечать свои действия, машина становится послушной и не требующей напряженного внимания. Так и с трудностями жизни. Привычка к их преодолению приходит незаметно, учиться становится легко, только нельзя давать себе распускаться и жалобиться. Товарищи будут с уважением называть такого человека собранным, волевым, мужественным, а он будет удивляться: что такого в нем нашли особенного?

И если вы действительно стремитесь к знаниям, то не поддавайтесь слабости, никогда не отменяйте своего решения. Дорогу осиливает и ослабевший человек — пока он идет. Но, упав, ему будет трудно подняться, много труднее, чем продолжать идти!

### **11.Текст 3.Прилепина "Про Новый год"**

Осенью 1925 года я поступил в Академию наук лаборантом геологического музея. Казалось бы, мне оставалось только закончить университет. На деле получилось совсем не так. Разнообразная деятельность лаборанта, сама наука так увлекли меня, что я часто засиживался в лаборатории до ночи. Все труднее становилось совмещать столь интенсивную работу с занятиями. К тому же с весны до глубокой осени приходилось бывать в экспедициях. Вскоре и совсем бросил занятия, не будучи в силах совмещать дальние экспедиции в Среднюю Азию и Сибирь, где я уже работал в качестве геолога, хотя и не имел еще диплома.

Мне посчастливилось быть в рядах тех геологов, которые открыли пути ко многим важным месторождениям полезных ископаемых. Эта трудная работа так увлекала нас, что мы забывали все. Забыл и я о своем учении.

Я то и дело «спотыкался», когда приходилось отстаивать свои взгляды, выставлять проекты новых исследований или «защищать» открытые месторождения. Наконец, мне стало ясно, что без высшего образования мне встретится слишком много досадных препятствий. Будучи уже квалифицированным геологом, я ходатайствовал о разрешении мне, в порядке исключения, окончить экстерном Ленинградский горный институт. Мне пошли навстречу, и в течение двух с половиной лет удалось, не прерывая работы, закончить его.

Сколько я каялся и бранил себя за то, что оставил учение и не довел его до конца раньше, когда у меня было еще мало обязательств, накоплено мало исследований, требовавших спешного завершения.

Сейчас, когда я, пожилой, много видевший ученый и писатель, смотрю в прошлое, мне ясно, что стремление и воля к знаниям не оставляли меня. Я пробивался к знаниям, чувствуя и понимая, какой огромный и широкий мир открывается передо мной в книгах, исследованиях, путешествиях. Но каковы бы ни были мои способности и желания, сделать доступным все духовное богатство мира могло лишь систематическое образование. Все это — школа и уроки, диктовки и задачи — было трудным препятствием, но и в то же время ключом, открывшим ворота в новое, интересное, прекрасное.

Мне повезло с учителями — на пути оказались хорошие, высокой души люди. Настоящие педагоги, сумевшие разглядеть в малообразованном, плохо воспитанном, подчас просто грубом мальчишке какие-то способности. Но мне думается, что если бы этого не случилось, то все равно я бы продолжал преодолевать все трудности учения. Воля, как и все остальное, требует закалки и

упражнения. То, что казалось трудным вчера, становится легким сегодня, если не уступать минутной слабости, а бороться с собой шаг за шагом, экзамен за экзаменом.

Тренировка стойкости и воли приходит незаметно. Когда учишься ездить на автомашине, трудно справляться с ней и следить за дорогой, знаками, пешеходами. И вдруг вы перестаете замечать свои действия, машина становится послушной и не требующей напряженного внимания. Так и с трудностями жизни. Привычка к их преодолению приходит незаметно, учиться становится легко, только нельзя давать себе распускаться и жалобиться. Товарищи будут с уважением называть такого человека собранным, волевым, мужественным, а он будет удивляться: что такого в нем нашли особенного?

И если вы действительно стремитесь к знаниям, то не поддавайтесь слабости, никогда не отменяйте своего решения. Дорогу осиливает и ослабевший человек — пока он идет. Но, упав, ему будет трудно подняться, много труднее, чем продолжать идти!

### **13.Текст Б. Екимова «Мальчик на велосипеде»**

В последнее время Хурдин часто вспоминал о Вихляевской горе, о велосипеде; и, думая о поездке к матери, загадывал починить старый велосипедишко и съездить на Вихляевскую гору.

До самого дома больше не обмолвились словом. И чем ближе подъезжали, тем острее понимал Хурдин, какими долгими были эти пять лет разлуки. Такими долгими... И в какое-то мгновение вдруг показалось: матери уже нет, она умерла, а ему просто не сказали. Да, вдруг почудилось такое.

Мама была жива. На гул и сигнал машины, на голоса она отворила воротца и вышла. Вышла и кинулась к сыну.Привел господь, привел... Сохранил и привел... живого...- беспамятно бормотала она. - Господи... Какую я игу снесла. Уехал и матери сердцу вынул... - бормотала мать, пригибая к себе и ощупывая сыновью голову, плечи, лицо оглаживая, волосы, лаская и словно проверяя, все ли при нем.

И, поняв, поверив, что живой перед ней сынок и целый, она ослабела, и разом, одним разом хлынули так долго копленные слезы. Мать уже не могла говорить, она лишь в исступленье колотилась легкой седой головой о сыновью грудь.

Хурдин тоже плакал. Молча, глотая слезы, он плакал и ждал, когда мать успокоится.

Давно уехала машина, вещи стояли во дворе, а мать все не могла поверить.

- Какой год во слезах ничего не вижу... Все об тебе да об тебе. Войны боюся. Телевизор кажеденно гляжу, а там все недоброе гутарят: война да война. А у меня об вас сердце кровит. Начнется - и враз тебя... Мы спасемся да и помрем так возля друг дружки, а мое дите вдале, одна-одиная... Сделалась бы гулюшкой и полетела...



Хурдин слушал и все более понимал, что пять лет - такой долгий срок, бесконечный. Пять лет - это почти десятая часть всей жизни, а если в силе и разуме взрослого бытия ее брать, то вдвое больше. А для разлуки и вовсе не мереный срок, бесконечный.

Ведь, сколько помнил себя Хурдин, всегда он был перед матерью мальчонкой, даже взрослым уже. А теперь сидел возле нее большой, широкоплечий, а мать малым воробушком жалась к нему. И, обнимая мать, чуял он птичьи ее косточки и легкую плоть. Да что там мать, когда даже хата начинала в землю уходить.

Хурдин рассказывал о жене и детях, слушал материнскую повесть о хуторской родне. В округе лишь родных братьев да сестер было четверо, теток и дядьев столько же, а уж двоюродные - самосевом росли. И все жили неплохо, грех жаловаться. И не единожды звали мать к себе средний сын Василий, дочь Раиса. Но мать жила одна. И как когда-то, при покойном отце и большой семье, держала корову, коз, птицу, кабана выкармливала. Мать хозяйством гордилась и потому очень довольна была, когда Хурдин сказал:

#### **14. Текст Л. М. Леонов "Русский лес"**

С глазами, полными слез, Иван глядел в снег под собою: подступал конец его сказки. Правда, добрая половина Облога стояла еще нетронутый, но в сознание мальчика бор перестал существовать одновременно с гибелью той могучей хвойной старухи, что осеняла Калинову кровлю. Оставлять ее было немислимо: в первую же пургу, при падении, она раздавила бы Калинову сторожку, как гнилой орех.

– Теперь раздайсь маненько, православные, – тусклым голосом сказал Кнышев. – Дакось и мне погреться чуток!

Неожиданно для всех он сбросил с себя поддевку и остался в белой, кипеня белей вышитой рубахе, опоясанной кавказским ремешком с серебряным набором. Десяток рук протянули ему сточенные, карзубые пилы; он выбрал топор у ближайшего, прикинул на вес, одобрительно, на пробу, тронул ногтем лезвие, прозвеневшее, как струна, плюнул в ладонь, чтоб не скользило, и притоптал снежок, где мешал, – прислушался к верховому шелесту леса и неторопливо, как на эшафоте, с маковки до пяты оглядел свою жертву. Она была неслыханно хороша сейчас, старая мать Облога, в своей древней красе, прямая, как луч, и без единого порока; снег, как розовый сон, покоился на ее отяжелевших ветвях. Пока еще не в полную силу, Кнышев размахнулся и с оттяжкой на себя, как бы дразня, ударил в самый низ, по смолистому затеку у комля, где, подобно жилам, корни взбегали на ствол, а мальчик Иван чуть не ахнул от удивления, что кровка не забрызгала ему рук.

– Вот как ее надоть, – наставительно промолвил Золотухин. – Учитесь!

Сперва топор отскакивал от промерзлой заболони, но вдруг железо остервенилось, и в воздухе часто засверкала мелкая, костяного цвета щепка. Сразу, без единой осечки, образовался узкий, точный выруб, и теперь нужна была

особая сноровка, чтоб не увязить в древесине топора. Звонкие вначале удары становились глуше по мере углубления в тело и подобно дятловому цокоту отдавались в окрестности. Все замолкло кругом, даже лес. Ничто пока не могло разбудить зимнюю дрему старухи... но вот ветерок смерти пошевелил ее хвою, и алая снежная пыль посыпалась на взмокшую спину Кнышева. Иван не смел поднять головы, видел только краем увлажнившегося глаза, как при каждом ударе подскакивает и бьется серебряный чехолок на конце кнышевского ремешка.

Зато остальные пристально наблюдали, как разминается застоявшийся купец. По всему было видно, что он хорошо умел это, только это и умел он на земле. В сущности, происходила обычная валка, но томило лесорубов виноватое чувство, будто присутствуют при очень грешном, потому что вдобавок щеголеватом и со смертельным исходом, баловстве. И хотя Кнышев действовал без передышки, все понимали: он несколько подзатягивает свое удовольствие, чего простые люди никогда не прощали и заправским палачам... Чтоб довершить дело, купец перекинулся на другую сторону: до конца оставалось стукануть разок-другой. Никто не слышал последнего удара. Кнышев отбросил топор и отошел в сторонку; пар валил от него, как в предбаннике. Подоспевший Золотухин молча накинул поддевку на его взмокшие плечи, а Титка звучно раскупорил ту плоскую, серебряную, неусыхающую. Сосна стояла по-прежнему, вся в морозном сиянье. Она еще не знала, что уже умерла.

Ничто пока не изменилось, но лесорубы попятились назад.

– Пошла-а... – придушенно шепнул кто-то над головой Ивана.

Всем ясно стало, что когда-то и Кнышев добывал себе пропитание топориком, и теперь интересно было проверить степень его мастерства: соскользнув с пня при падении, сосна, как из пушки, могла отшвырнуть Калинову скорлупку...

Еле заметное движение родилось в ветвях, что-то деловито хрустнуло внизу и мелкой дрожью отозвалось в вершине. Сосна накренилась, все вздохнули с облегчением; второй заруб был чуть выше начального, лесина шла в безопасную сторону, опираясь в будущий откол пня. И вдруг – целая буря разразилась в ее пробудившейся кроне, ломала сучья, сдувала снег, – сугробы валились наземь, опережая ее падение... Нет ничего медленней и томительней на земле, чем падение дерева, под чьей сенью посещали тебя смутные грезы детства!

### **15.Текст Б.Екимов. "Одинокая старость. Полынь":**

Крым. Приморский поселок Коктебель - место известное. Справа высятся громады Карадага, Святой горы, слева - покатые холмы степного Крыма.

Осень. Середина сентября. Курортный сезон кончается. Море еще дышит теплом, ласково голубеет. Днем жарко светит солнце. Вечерами уже прохладно и по-южному быстро темнеет. Но люд отдыхающий под крышей сидеть не любит, и потому на набережной, на невеликом ее протяжении, которое издавна зовут "Пятачком", собирается народ праздный со всего поселка.

Нынешней осенью появилась на коктебельском "Пятачке" старая женщина с букетиками сухих трав. Каждый вечер она устраивалась на краю "Пятачка" с товаром не больно казистым: сухая полынь да несколько простых цветочков, из тех, что растут вокруг. Что-то желтое да сиреневое.

- Повесите на стенку, - убеждает она редких любопытствующих. - Повесите, так хорошо пахнуть будут.

Но что-то не видел я, чтобы брали ее изделия. Рядом - перстни да серьги с сердоликом, броши из яшмы, пейзажи с морем, с луной. Привезешь домой - будет память. Всякий человек поймет: это - Крым. А что сухая полынь? Ее везде хватает.

Старая женщина в темном платочке, в потертом пальто одиноко сидит на краешке осеннего, но еще праздничного крымского вернисажа, порой объясняет:

- На стенку повесите... Так хорошо пахнет.

Осень. Быстро темнеет. Фонари теперь редки. Говорят, что платить за них нечем и некому. Пора разоренья. Сумерки "Пятачок" сужают. Первой с него исчезает старая женщина. Она еще не ушла, но как-то ступевалась, сливаясь с серым гранитом и темным асфальтом. Народ еще ходит да бродит, разглядывая сувениры, картины, подсвеченные фонариками. Старая женщина - во тьме, сгорбленная, возле невидимых уже пучков полыни. Потом она вовсе исчезает.

А вечерами - шумный "Пятачок" от затененной диким виноградом веранды до музея Волошина. Прогулки, разговоры, толкотня. Занятные безделушки на парапете и лотках. Что-то поглядишь, что-то купишь. Себе ли, родным и друзьям в подарок.

Все - славно. И лишь старая женщина с букетами полыни отчего-то тревожила меня. Она была так ни к месту и своим видом: потертое пальто, темный плат, старость, - и своими жалкими, никому не нужными букетами. Вечерами она, сгорбившись, одиноко сидела на скамейке на самом краю "Пятачка". Она была лишней на этом осеннем, но все же празднике на берегу моря.

Сразу же, на первый ли, второй день, я, конечно, купил у нее букетик полыни, выслушав: "Повесите на стенку... Так хорошо будет пахнуть". Купил, словно долг отдал. Но от этого не стало легче. Конечно же не от хорошей жизни прибрела она сюда. Сидит, потом тащится во тьме домой. Старая мать моя обычно, еще солнце не сядет, ложится в постель. Говорит, что устала. Ведь и в самом деле устала: такая долгая жизнь. И такой долгий летний день - для старого человека.

Старые люди... Сколько их ныне с протянутой рукой! И эта, на берегу теплого моря. Просить милостыню, видно, не хочет. Хотя подали бы ей много больше, чем выручит за свои жалкие сухие веточки и цветки. Но просить не хочет. Сидит...

И всякий же вечер была старая женщина, одиноко сидящая возле букетов сухой полыни.

Но однажды, выйдя на набережную, увидел я, что возле старой женщины, на ее скамейке, сидит пара: бородатый мужчина - на краешке скамьи, на отлете, мирно покуривает, а супруга ли, подруга его живо беседует со старушкой. Сухой букетик - в руке, какие-то слова о пользе полыни и всяких других растений. А разговоры "о пользе" весьма притягательны.

Здесь же, неподалеку, почтенный человек который день бойко продает сушеные травы, коренья, четко обозначив каждое: "от головы", "от сердца", "от бессонницы", "от онкологии". Покупают вовсю.

Вот и возле старой женщины, у ее букетиков, заслышав что-то "о пользе", стали останавливаться. Дело - вечернее, день - на исходе, забот - никаких.

## **16.Текст Д. Корецкий "Про ученых"**

В ученом мире для сохранения своего имени в веках необходимо быть первым у ленточки нового факта — нового, конечно, только для нас. Вообще-то этот факт существует с того момента, как существует Мир. Вообще-то этот факт будет открыт и объяснен рано или поздно. Это неизбежно. Эйнштейн удивлялся Галилею. Зачем старику было объяснять свои истины толпе? Достаточно того, что сам узнал. И получил высокое наслаждение. А сообщать другим — зачем? Рано или поздно все узнают то, что узнал ты. Рано или поздно все звезды будут пересчитаны, раз они есть на небе.

У художников нет Бюро патентов. Оно не нужно художникам. Художники не способны повторить друг друга даже в тех случаях, когда они ставят перед собой такую задачу. И даже если бы были картотеки художественных откровений, они не помогли бы другим художникам. Ибо открытия в художественном ощущении мира всегда первичны для каждого. Можно тысячи раз в любых географических пунктах и в любые века открыть силу тяготения или убедиться в том, что Земля — круглая. Невозможно создать вторую Джоконду, как невозможно равноценно заменить самый слабый художественный талант чистым размышлением. Ценность средней мысли равна нулю, средний талант имеет цену, ибо мысли повторяются, а художественность индивидуальна, а значит — неповторима. Попробуйте повторить Боборыкина!

Великий ученый, объяснивший великий факт природы для себя, но не могущий по какой-то причине передать свое знание другим, умирает с меньшей тяготой, нежели художник среднего таланта, который написал картину химически несовместимыми красками.

Ученый не сомневается, что рано или поздно придет другой гений, и найдет его истину, и расскажет о ней людям. Ученый знает, что исчезает только его авторство, а не истина. Когда исчезает картина, исчезает и авторство и художественная истина навсегда.

Основой творческого научного мышления является решение проблем, то есть постановка вопросов и ответ на них. Когда художник и ставит вопрос, и пытается ответить на него, чаще всего он оказывается в луже. Художественное творчество

не совпадает с научным по своему стилю. Для гениального художественного шедевра достаточно вопроса. Например: совместимы ли гений и злодейство?

Если вопрос задан в совершенной художественной форме, он имеет столько ответов, сколько есть людей на планете. Конечно, эти ответы возможно сгруппировать по степеням, например, доказательности их. Но двух абсолютно одинаковых ответов не будет, потому что в такой ответ (если, конечно, он дается в развернутом, мотивированном виде) целиком входит вся философия, весь жизненный опыт, все знания отвечающего индивида.

В зависимости от степени эрудиции отвечающий может привести больше или меньше примеров соединения гения и злодея, но никаким количеством он не убедит оппонента.

Ответ на вопрос, скрытый в художественном шедевре, ищет все общество, весь мир, все дилетанты, не имеющие никакого отношения к профессии специалистов по психологии творчества. Табу на поиск ответа не накладывается ни на дикаря, ни даже на сумасшедшего. Наоборот, ответы последних еще интереснее для всех думающих над вопросом.

Художник общается с миром, а ученый — с коллегами.

Что делает вожак-олень, когда ему чудится незнакомый запах или дальний шорох?

Все видели, как застывает вожак, изображая из себя вопросительный знак. Он весь — от последнего волоска на хвосте до глаз, и ушей, и рогов — вопрос. Вожак задает вопрос себе и всему стаду. Он сразу делится вопросом со всеми — так надо для повышения безошибочности ответа, так надо, чтобы выжить.

И мы, человеки разумные, унаследовали непреодолимое стремление делиться вопросом, который потряс нас, со всеми остальными. Но чтобы поделиться вопросом, передать другому тревогу увиденного неизвестного, надо вопрос изобразить, сформулировать. Так начинается творчество.

Ведь когда рисует ребенок, он все время поглядывает на тебя, он задает вопрос: «Папа, ты понял, что это я нарисовал домик? А это коза, да, папа?» Потом вопрос, который задает художник себе и миру, все усложняется и доходит до зауми для непосвященных, ибо художник не способен сформулировать вопрос в логических понятиях. Он задает вопрос «совместимы ли гений и злодейство?» в форме «Моцарта и Сальери», но, пересказанный мною в виде слов-понятий, этот вопрос уже не существует, это я только одну из бесчисленных матрешек вытащил на свет логики. На самом деле вопрос, который задает Пушкин, так же сложен, как вся сложность Мира.

Ученый же так хочет поставить вопрос, чтобы задачу или проблему можно было не только обязательно решить, но и решить по возможности быстро и полно и при минимальных издержках. Если ученый задает вопрос, который не может лечь в русло научно разработанной стратегии ответа, то коллеги не считают этого

ученого ученым. Они считают его беспочвенным фантазером и псевдомыслителем, беллетристом и сенсационником или даже мистиком и шарлатаном.

### **17.Текст В.Ф. Тендряков "Про полбуханки хлеба"**

Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой. Мы, это так — остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водица вместо похлебки. Отправку на фронт встретили с радостью.

Очередной хутор на нашем пути. Лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята! — объявил он вдохновенно. — Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!

Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.

у меня вспыхнула мыслишка... о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая.

Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и еще половина.

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.

Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: не выучил задание — надо было дочитать книгу, подрался снова - так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку!

С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

В голосе пожилого солдата — крупица странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он. — Бить тебя... Руки пачкать.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные. Среди красивых людей — я уродлив.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор. Мелкими поступками раз за разом я завоевывал себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

## **18. Текст К.Г. Паустовский "Акварельные Краски"**

(1) Когда при Берге произносили слово «родина», он усмехался. (2) Не замечал красоты природы вокруг, не понимал, когда бойцы говорили: «(3) Вот отобьем родную землю и напоим коней из родной реки». — (4) Трепотня! — мрачно говорил Берг. — (5) У таких, как мы, нет и не может быть родины. — (6) Эх, Берг, сухарная

душа! – с тяжёлым укором отвечали бойцы. – (7)Ты землю не любишь, чудака. (8)А ещё художник! (9)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (10)Через несколько лет ранней осенью Берг отправился в муромские леса, на озеро, где проводил лето его друг художник Ярцев, и прожил там около месяца. (11)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок, а привёз только маленькую коробку с акварелью. (12)Целые дни он лежал на ещё зелёных полянах и рассматривал цветы и травы, собирал ярко-красные ягоды шиповника и пахучий можжевельник, длинную хвою, листья осин, где по лимонному полю были разбросаны чёрные и синие пятна, хрупкие лишай нежного пепельного оттенка и вянущую гвоздику. (13)Он тщательно разглядывал осенние листья с изнанки, где желтизна была чуть тронута свинцовой изморозью. (14)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг, и Ваня Зотов, сын лесника, каждый раз говорил Бергу: – (15)Кажись, кидают нас птицы, летят к тёплым морям. (16)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показали ему предателями. (17)Они бросали без сожаления этот лесной и торжественный край, полный безымянных озёр, непролазных зарослей, сухой листвы, мерного гула сосен и воздуха, пахнущего смолой и сырыми болотными мхами. (18)Как-то Берг проснулся со странным чувством. (19)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью сияла тихая синева. (20)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его выпревшим и лишённым ясного смысла. (21)Но теперь он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца. (22)Берг взял краски, бумагу и, не напившись даже чаю, пошёл на озеро. (23)Ваня перевёз его на дальний берег. (24)Берг торопился. (25)Берг хотел всю силу красок, всё умение своих рук, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (26)Берг работал как одержимый, пел и кричал. ... (27)Через два месяца в дом Берга принесли извещение о выставке, в которой тот должен был участвовать: просили сообщить, сколько своих работ художник выставит на этот раз. (28)Берг сел к столу и быстро написал: «Выставляю только один этюд акварелью, сделанный этим летом, – мой первый пейзаж». (29)Спустя время Берг сидел и думал. (30)Он хотел проследить, какими неувидимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство родины. (31)Оно зрело неделями, годами, десятилетиями, но последний толчок дал лесной край, осень, крики журавлей и Ваня Зотов. – (32)Эх, Берг, сухарная душа! – вспомнил он слова бойцов. (33)Бойцы тогда были правы. (34)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к родине сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой и во сто крат более прекрасной, чем раньше.

### **19.Текст Б.Акунин "Про страх/смелость":**

Недавно я прочитал интереснейшую статью в журнале Current Biology про одну американку, у которой начисто отсутствует чувство страха. То есть вообще ноль целых ноль десятых. Ученые обвешали ее датчиками, пугали-пугали всеми способами, на которые хватало воображения – никаких отрицательных эмоций.



Причина бесстрашия нашей американки была сугубо медицинская. В мозгу есть миндалевидный закуточек, который называется амигдала. Именно он отвечает за формирование страха.

Пытаюсь представить себе, каково это – жить вообще без страхов. Хотел бы я так или нет?

Первый порыв, конечно, ответить: да, очень хотел бы!

Страх – ужасно противное чувство.

У Толстого замечательно описано, как Николай Ростов празднует труса, убегая от французов: «Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробежал по его спине».

Сейчас бросит пистолет и побежит

Должно быть, поручик Толстой знал это состояние не понаслышке – оно впечатляюще описано и в «Севастопольских рассказах».

А сколько недостойных поступков и подлостей совершается от страха, сколько ломается судеб.

Нет, решено. Удалите мне амигдалу, пожалуйста. Хочу ничего не бояться. Вообще ничего. Как пел Высоцкий: «Я не люблю себя, когда я трушу».

С другой стороны... Всем наверняка в жизни приходилось делать что-то через страх.

У меня одно из ранних воспоминаний, как мы во дворе зачем-то затеяли прыгать с крыши гаража. Мне было, наверное, лет шесть-семь. Как обычно, нашелся кто-то бесшабашный, а за ним полезли остальные, и я в том числе. Сверху вниз посмотрел – ужас, оцепенение. Особенно когда мой приятель, более смелый, чем я, прыгнул, подвернул ногу и завопил от боли. А я – следующий. Снизу девочки смотрят (они умнее нас, дураков, - не полезли). Прыгнул, конечно. Куда деваться? И впервые в жизни испытал чувство победы – самой драгоценной из побед, победы над собой. Может, не такая уж это была глупость – прыгать с крыши гаража.

38)Зачем нужен страх с биологической точки зрения, понятно – срабатывает инстинкт самосохранения. 39)Но страх необходим и для развития личности.

40)Страх нужен затем, чтобы у тебя было, что побеждать. 41)Смелость – это не бесстрашие, а умение побеждать амигдалу. 42) Трусость – наоборот. 43)Когда амигдала побеждает тебя.

( здесь был кусок про профессии, не нашла)

Я подумал-подумал и отказался. Невозможно написать живую книгу, если не вибрируешь от страха, что у тебя ни черта не получится. Даже если это просто детектив.

И что бы я был без этого страха?

Нет, хочу бояться и радоваться победе над страхом.

Не троньте мою амигдалу.

## **20.Текст А.Грин "Голос и глаз"**

### **ГОЛОС И ГЛАЗ**

Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае, делать движения только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравновесивая себя в светлом пространстве таинственной работой зрачков, представляясь вдруг ясно, так волновала его, что он весь дергался, как во сне.

Оберегая нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, безусловно, станет вновь зрячим. Какой-нибудь десяти тысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду:

- Будьте спокойны. Для вас сделано все, остальное приложится.

Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид услышал голос подходящей к нему Дэзи Гаран. Это была девушка, служившая в клинике; часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить ему на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к онемевшей от неподвижности голове. Так и случилось.

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда и он услышал стремительный женский голос, распорядившись устройством больного, в нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь - стало его целью ради нее.

Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, сознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением, - и она знала, что он любит ее.

До операции они подолгу и помногу разговаривали. Рабид рассказывал ей свои скитания, она - обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той же очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумывали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее были:

- До свидания, пока.

- Пока... - отвечал Рабид, и ему казалось, что в "пока" есть надежда.

Он был прям, молод, смел, шутив, высок и черноволос. У него должны были быть - если будут - черные блестящие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах. И ее болезненное, неправильное лицо покрывалось нежным румянцем.

- Что будет? - говорила она. - Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но откройте его тюрьму, профессор Ребальд, прошу вас!

Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Рабид, профессор и помощник его и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабида.

- Дэзи! - сказал он, думая, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, почувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты как замороженная, прислушиваясь к г

## **21.Текст Т.Н. Толстая "О милосердии":**

Тридцати шести семьям помогала бабушка на протяжении трех десятилетий. Еще раз: тридцати шести. Там, где нельзя было урезать у своей семьи без ущерба для существования, она урезала у себя. Кажется, всю жизнь она проходила в одном и том же скучном синем платье; когда платье ветшало, оно заменялось таким же. Нет, не всю жизнь. До революции она носила красивые, модные вещи – черный бархат, прозрачные рукава с вышивкой, черепаховые гребни, – я же сама находила их, раскапывая сундуки в чулане. Что случилось с ней, когда это случилось, почему случилось, как она стала святой – я уже никогда не узнаю.

После бабушкиной смерти маме стали приходить робкие письма из далеких ссылок, из-за Полярного круга. Вот Татьяна Борисовна посылала нам ежемесячно

столько-то рублей, мы выживали. Дочь без ног, работы нет, муж погиб. Что нам делать? И мама – семеро детей, няня Груша, кухарка Марфа, Софья Исааковна – музыка, Маляка – гуляние, Елизавета Соломоновна – французский, Галина Валерьяновна – английский, это для каждого, плюс Цецилия Альбертовна – математика для тупых (это я, привет!), собака Ясса – гав-гав, два раза в неделю табунок папиных аспирантов – суп, второе, – мама спокойно и стойко взяла еще и этот крест на себя, и понесла, и продолжила выплаты и посылки, никому не сказав, никому не пожаловавшись, все такая же спокойная, приветливая и загадочная, какой мы ее знали.

И я никогда бы ни о чем этом не узнала, если бы кто-то из несчастных, уже в семидесятые годы, не добрался до Москвы и не оказался в свойстве с ближайшей маминной подругой, а та приступила к маме с расспросами и все выведала и рассказала мне – под большим секретом, потрясенная, как и все всегда были потрясены, маминной таинственной солнечной личностью.

Раз уж я забежала вперед, то я скажу, что еще у нас – чтобы довершить картину нашей зажравшести – была машина «Волга» и дача с верандами и цветными стеклами; весь табор летом перемещался на дачу, и хотя учительницы музыки и языков с нами не ездили, зато у нас проживала хромая тетя Леля, сама знавшая три языка, лысая старуха Клавдия Алексеевна, выводившая на прогулку малышей, и семья папиного аспиранта Толи – жена и двое детишек, потому что им нужен был свежий воздух и почему бы им у нас не пожить. Так что за стол меньше пятнадцати человек не садилось, и маму я всегда вижу стоящую у плиты, или волочащую на пару с Марфой котел с прокипяченным в нем бельем, или пропалывающую грядки с пионами, лилиями и клубникой, или штопающую, или вяжущую носки, и лицо ее – лик Мадонны, а руки ее, пальцы – искривлены тяжелой работой, ногти сбиты и костяшки распухли, и она стесняется своих рук. И никогда, никогда она не достает из комода и не надевает ни серебряного ожерелья, ни золотой шейной косынки.

Но и нам их поносить не разрешает.

\* \* \*

Фиктивный брак вскорости перерос в настоящий, в марте даже сыграли свадьбу, и новых родственников Алексея Толстого, уже почти пропавших в пермской, или уфимской, или саратовской, или оренбургской, или томской глуши, с неудовольствием оставили в покое (за них ходатайствовал Горький). Кстати, чекисты разгадали папин план (ну, стукачей-то вокруг всегда хватало). Недавно издали дневник Любви Васильевны Шапориной, театральной художницы, матери папиного приятеля Васи. Она пишет, что Вася собрался жениться на своей подруге Наташе и местный (детскосельский) чекист кричал, что ишь, манеру взяли: на высылаемых жениться! Думают, раз Никита Толстой это проделал, так и им можно! Вася все-таки женился.

**22.Текст Ю.М.Нагибин "Что такое красота?":**

Что такое красота? Правда, не всегда, у людей разные вкусы, разные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Тем, кто обладает сильно развитым воспринимающим аппаратом, куда легче понять очарованность художника той или иной натурой и разделить его чувство вопреки собственным пристрастиям, нежели тем, кто редко соприкасается с искусством

Чем поражает Джоконда? Сложностью выражения, глубиной душевной жизни, обнаруживающей себя в многозначной полуулыбке, взгляде, погруженном в даль, но готовом откликнуться и сиюминутности. Разве можно сказать, что Мона Лиза безукоризненно красива? У самого Леонардо есть на полотнах женщины куда красивей (хотя бы эрмитажная «Мадонна Литта»), но манит, притягивает, сводит с ума поэтов, вдохновляет музыкантов, пленяет сложные и простые души бессмертная Джоконда — в ней явлен не холодный, обобщающий тип красоты, а горячая, пульсирующая, бездонная жизнь единственной души. Человеку, сказал Паскаль, по-настоящему интересен только человек. И потому над тайной Джоконды, тайной вполне реальной женщины, жившей в нашем мире, а не на Олимпе и не в горних высях, флорентийской гражданки, жены купца Джокондо не устают биться поколение за поколением.

Словами красоты не передашь. Это прекрасно знал Лев Толстой. В полушутливом споре с Тургеневым и Дружининым, кто лучше опишет красоту женщины, он перечеркнул прямолинейные описания своих соперников одной-единственной фразой из Гомера: «Когда Елена вошла, старцы встали». Умно, дерзко, лукаво, но вместе с тем Толстой как бы расписывается в бессилии выразить словами живую красоту женщины. Впрочем, это не мешало ни ему самому, ни его литературным собратьям создавать пленительные женские образы. Разве мы сомневаемся в зрелой красоте Анны Карениной, или девичьей — Наташи Ростовской, или романтической — Татьяны Лариной? А между тем Пушкин не дал ее портрета. Ведь нельзя же считать портретом: «Татьяны бледные красы и распущенные власы». А ведь всего-то сказано, что «все тихо, просто было в ней». Чего же достигает Пушкин такой зримости образа, ставшего символом русской женской красоты — физической и духовной? Колдовством рассеянных по роману легких мазков чарующей авторской интонацией, исполненной нежностью и уважения, и чем-то вовсе неуловимым, что принадлежит тайне гения.

Бездушная, внешняя красота — ничто, ценна лишь красота, светящаяся изнутри, она озаряет мир добром, возвышает самого человека и укрепляет веру в будущее.

Как хорошо сказал великий педагог К. Ушинский: «Всякое искреннее наслаждение изящным само по себе источник нравственной красоты».

### **23.Текст М.М.Пришвин "Любовь"**

Когда человек любит, он проникает в суть мира.

Белая изгородь была вся в иголках мороза, красные и золотые кусты. Тишина такая, что ни один листик не тронется с дерева. Но птичка пролетела, и довольно взмаха крыла, чтобы листик сорвался и, кружась, полетел вниз.

Какое счастье было ощущать золотой лист орешника, опушенный белым кружевом мороза! И вот эта холодная бегущая вода в реке... и этот огонь, и тишина эта, и буря, и все, что есть в природе и чего мы даже не знаем, все входило и соединялось в мою любовь, обнимающую собой весь мир.

Любовь - это неведомая страна, и мы все плывем туда каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем.

Я пропустил первую порошу, но не раскаиваюсь, потому что перед светом явился мне во сне белый голубь, и когда я потом открыл глаза, я понял такую радость от белого снега и утренней звезды, какую не всегда узнаешь на охоте.

Вот как нежно, провеяв крылом, обнял лицо теплый воздух пролетающей птицы, и встает обрадованный человек при свете утренней звезды, и просит, как маленький ребенок: звезды, месяц, белый свет, станьте на место улетевшего белого голубя! И такое же в этот утренний час было прикосновение понимания моей любви, как источника всякого света, всех звезд, луны, солнца и всех освещенных цветов, трав, детей, всего живого на земле.

И вот ночью представилось мне, что очарование мое кончилось, я больше не люблю. Тогда я увидел, что во мне больше ничего нет и вся душа моя как глубокой осенью разоренная земля: скот угнали, поля пустые, где черно, где снежок, и по снежку - следы кошек.

...Что есть любовь? Об этом верно никто не сказал. Но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию и вечности, а вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собою непонятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или менее прочные вещи, начиная от маленьких детей и кончая шекспировскими строками.

Маленькая льдина, белая сверху, зеленая по взлому, плыла быстро, и на ней плыла чайка. Пока я на гору взбирался, она стала бог знает где там вдали, там, где виднеется белая церковь в кудрявых облаках под сорочьим царством черного и белого.

Большая вода выходит из своих берегов и далеко разливается. Но и малый ручей спешит к большой воде и достигает даже и океана.

Только стоячая вода остается для себя стоять, тухнуть и зеленеет.

Так и любовь у людей: большая обнимает весь мир, от нее всем хорошо. И есть любовь простая, семейная, ручейками бежит в ту же прекрасную сторону.

И есть любовь только для себя, и в ней человек тоже, как стоячая вода.

<http://www.ctege.info/>